



ROMAN KATSMAN

Uniwersytet Bar-Ilan w Ramat Ganie (Izrael)



ORCID 0000-0003-0607-8047

Полюбите слово

Беседа с Яковом Шехтером о книгах

Второе пришествие кумранского учителя и Самоучитель каббалы

Яков Шехтер, *Второе пришествие кумранского учителя*,
Астропринт, Одесса 2016.

Яков Шехтер, *Самоучитель каббалы*,
Астропринт, Одесса 2018 (комментарии и пояснения А. Файн)

Роман Кацман: *Второе пришествие кумранского учителя* — интересная и необычная книга. Захотелось ее обсудить.

Яков Шехтер: Там очень много литературной игры. Я поразвлекался. Что называется: по страницам любимых книг.

Роман Кацман: Это чувствуется. А как бы ты сам определил жанр этой книги? Как, по-твоему: она похожа на другие твои вещи или стоит особняком? Или спрошу так: как тебе видится идеальный читатель этой книги?

Яков Шехтер: Это исторический роман. Придуманно в нем не больше, чем у Дюма. Очень много точных исторических подробностей. Вернее, вся этнография, весь фон абсолютно достоверны. Они почва для выращивания сюжета. Правило простое: чтобы придуманная коллизия выглядела правдивой, детали обязаны быть подлинными. Если эссеист попросит ученика вылить из кувшина пол-литра оливкового масла, то моментально станет ясно, что борода у него приклеенная.

Про читателя трудно сказать. Мне нравится создать мир и самому пожить в нем. Главным драматическим событием моей жизни стало познание духовности, приобщение к тайнам Торы,

Талмуда, традиции, хасидизма и каббалы. Я был и остаюсь растерянным учеником на пороге сияющего мира. Поэтому и пишу о процессе узнавания иной реальности, в той или иной ее вариации, о познании и принятии духовности, о работе над собой, об ирреальном и эзотерическом.

Роман Кацман: Многое из того, что я читал у тебя, пропитано духом «растерянного ученичества», как ты говоришь, взросления, инициации — «Астроном» уж точно и даже «Вокруг себя был никто». Можно ли назвать эту линию в твоём творчестве юношеской литературой? Я знаю очень молодых читателей, которые с увлечением читают твои книги. Это был бы настоящий прорыв, ведь русско-еврейская религиозная детская литература — это, насколько я знаю, совершеннейшая целина. Что ты думаешь?

Яков Шехтер: Их вэйс... может быть... наверное... но мне кажется, что подавляющее большинство русскоговорящей публики находится по отношению к темам, о которых я пишу, на стартовой, юношеской позиции. В этом смысле мои книги, разумеется, для них.

Но я наполняю свои тексты философскими, каббалистическими, мусарными (этическое движение мусар, рав Салантер) идеями и понятиями. В моих романах больше иносказаний и притч, чем в ином суфийском трактате, и они далеко не по зубам даже взрослому человеку. Как же можно их записывать в литературу для юношества?

Роман Кацман: Во-первых, одно другому не мешает. Во-вторых, есть понятие юношеского чтения — литература для взрослых, доступная и юным и пользующаяся популярностью у них. Даже у Агнона есть немало таких рассказов. Некоторые публиковались и публикуются в специальных сериях «для юных». В-третьих, это характеристика не столько тематическая, сколько стилистическая. Но даже если говорить о темах и идеях, то молодое сознание, открытое новому, парадоксальному и чудесному, может быть иногда более восприимчиво и чутко, чем зрелое. Нет?

Яков Шехтер: Тогда я не понимаю, что ты называешь литературой для юношества. Мне казалось, что этот жанр подразумевает легкий, упрощенный разговор писателя с читателем. Отсюда обязательные простота чтения и увлекательность сюжета, неперенные атрибуты этого жанра, позволяющие вводить подростков в мир взрослых проблем.

Роман Кацман: Легкий — да, но не упрощенный. А любая проблема, по самой своей сути, взрослая. Юным свойст-

венно переживать и решать их метафорически, как во сне, воображая невозможное возможным, соединяя несоединимое. Метафизический скачок (например, через границу взросления), представляющий сложнейшую философскую, теологическую и этическую проблему, для них естественен и органичен. Я бы назвал это целомудрием, буквально, мудростью целостности. Это синтетическое, а не аналитическое сознание, интуитивное, а не понятийное, личностное, а не абстрактное. Греки называли это «нус» — мировой разум, а евреи — любовью к Единому. Так вот, литература, которая миметически репрезентирует это целомудрие на его же языке, и есть детская или юношеская литература (в данном, специальном, но, возможно, и в **общем смысле**). Как тебе такое определение?

Яков Шехтер: Предположим! Но тогда любую хорошую книгу можно записать в эту градацию.

Роман Кацман: Отнюдь. Большая часть хорошей литературы представляет расщепленное сознание. Это раз. И два, она редко говорит на языке целомудрия. Мы же говорим об особой дискурсивной формации, стоящей ближе всего к мифу, но и **отличной от него тем, что включает в себя мета-нарративный и этико-прагматический уровень**. Это как бы миф, рассказанный магом или учителем на уроке, или агада, рассказанная раввином. Может быть, это парадоксально, но именно эта риторическая дистанция между мифом и рассказчиком-взрослым, учителем, делает миф тем, что воплощает сознание ученика. Тем самым, вся конфигурация речи в целом становится «юношеской литературой», в частности, прежде всего, неофитской. Причем, в отличие от Bildungsroman, собственно взросление не обязательно является частью этой формации. Это своего рода перманентная инициация...

Яков Шехтер: По этой концепции Ричард Бах — детская литература.

Роман Кацман: Не знаю. Вряд ли его текст строится как неофитская риторическая ситуация. Кроме того, не уверен, насколько его стиль миметичен. Обнажение символического, сдвиг в сторону поэзии, как у Баха, выводит произведение из интересующего нас жанра. По этой причине чистый магизм и сюрреализм тоже отпадают. Впрочем, я не настаиваю на термине «юношеская литература». Если он кажется чересчур однозначным, можно остановиться на «неофитской».

Яков Шехтер: Гулливер, острейшая и желчная сатира Свифта, тоже попадает в разряд юношеской литературы?

Роман Кацман: Почему бы и нет? Хотя Свифт слишком диалектичен, противоречив, раздражен. Боюсь, юношескими могут считаться только адаптации *Гулливера*. Здесь другое: просвещенческий, пророческий, проповеднический пафос. Сказка для взрослых — это отдельный жанр. Возможно, это не вполне твой случай. Разве что, рассказы о бесах и демонах. Однако, сомневаюсь, что ты бы определил их как сказки.

Яков Шехтер: Я хочу надеяться, что случаи у меня разные и меняются от книги к книге. **Жаль, последний мой роман «Хожение в Кадис»** пока не добрался до печати. Хотя... там тоже про юношей...

Роман Кацман: Вот именно!

Яков Шехтер: Я бы это определил не как неофитская литература, а литература познания мира. Нового. Иногда духовного, иногда материального. Человек динамичен, в отличие от статичных ангелов. Он все время в движении. Познание — это путь, и я пишу о людях познающих, то есть постоянно стоящих на пороге нового.

Роман Кацман: Я согласен. Кстати, в одной из моих работ, я пытаюсь показать, что существенная характеристика русско-израильской литературы алии 90х — это как раз такой перманентный культурный прозелитизм, познание новой реальности как единственная подлинная реальность, новый (гипер) гуманизм. Было бы неплохо подумать, как это соотносится с религиозной литературой...

Яков Шехтер: Я бы назвал ее литературой возвращения, пост-атеизма. Предыдущая еврейская литература писалась людьми, уходившими от еврейских скисающих сливок в большой мир. Выстрелом рвались Вселенной навстречу. Дорвались, попробовали. И теперь мы возвращаемся обратно. Нам еврейские павлины на обивке милее звездной бездны над головой.

Роман Кацман: «Мы» бывают разные. У Эли Люксембурга — возвращение безумно, у Анны Файн — апокалиплично, а у тебя — «мудроцельно». Искусству всё равно, откуда писательское слово черпает свою силу — павлины не лучше и не хуже звезд. А вот понимание литературы как познания, к тому же, познания нового — вполне определенная эстетическая концепция, во многом гегельянская. Ее истоки — всё в том же европейском просвещении и романтизме, в знаменитой максиме Бюффона, что стиль — это сам человек. То есть особая форма мышления и переживания мира. Ты сам признался, что твой «человек» — это растерянный ученик. Твое понятие

«растерянности» можно толковать в духе *Путеводителя растерянных* Рамбама, а именно как стремление к осмыслению, познанию (по твоим же словам). Но твоя растерянность — не растерянность кризиса, а растерянность удивления, восторга, пафоса (в смысле восприятия бесконечного в конечном). Можно предположить, что твое возвращение не только еврейское, но и романтическое...

Яков Шехтер: Никогда не слышал такого изречения Бюффона, как не подозревал, что исповедую гегельянскую концепцию и вообще говорю прозой. Романтика духовного пути, а я еду, а я еду за... святостью. Я из того поколения, которое искало и **продолжает искать романтику не в тумане и не в запахе тайги, а в синагоге и в аромате старых книг. Любовь и ностальгия** самые удивительные оптические приборы на свете. Но вообще последнее твое соображение мне близко.

Роман Кацман: Истоки серьезного отношения к детской, юношеской и фольклорной литературе — всё в том же просвещении/романтизме. Твоя антология хасидских историй вполне согласуется с моим предположением о твоём базисном хронотопе (назовем это так, чтобы избежать жанровых определений): волшебное теопозитическое путешествие (ты сам сказал: еду-еду) невзрослеющего удивленного неопита. Кстати, главы из нового романа, которые сейчас выходят в «Артикле», это подтверждают.

Яков Шехтер: Если уже пошла речь о новинках: в Одессе сейчас выходит моя новая книга *Самоучитель каббалы*. Я придумал такой фокус для сборника рассказов, и Анна Файн написала к моим текстам каббалистическое предисловие. После каждого рассказа следуют контрольные вопросы. Мол, сначала объясняем некое духовное понятие, потом оно иллюстрируется художественным текстом, а потом проверка усвоенного материала.

В самом названии книги запрятана большая улыбка, ведь словосочетание «Самоучитель каббалы» — самый настоящий оксюморон. Каббала — дословно «преемственность», то есть передача от учителя к ученику. Поэтому никакого самоучителя каббалы по определению быть не может. И, тем не менее, у меня сильное подозрение, что все это воспримут всерьез, как учение психометристов из романа *Вокруг себя был никто*.

Роман Кацман: Самоучитель — это тоже ученический жанр, хотя, конечно, не обязательно юношеский. Но в связи с новой книгой о каббале возникает другой вопрос: такой гибридный жанр, как цикл рассказов в форме самоучителя, наподобие ро-

мана-путеводителя, романа-словаря и прочее — это капитуляция перед постмодернизмом?

Яков Шехтер: Для начала я приведу тебе коммент Ани Файн на эту тему:

«Иессс!!! Выходит наша с Яшей совместная книжка *Самоучитель по каббале*. И некоторые могут подумать, что мы сбрендили. Или что мы рухнули с дуба. Нет! Не сбрендили мы и с дуба не падали. Мы оба знаем, что каббала — это в дословном переводе значит 'преемственность', то есть, передача от учителя к ученику. И никакого самоучителя по каббале быть не может. Это мы немножко стебались».

Роман Кацман: Я понимаю, интернет всё стерпит, тем более что и в самой книге каббалистические комментарии Файн густо пересыпаны цитатами и ссылками на современную популярную культуру и литературу. Но за самоиронией вам не спрятаться, тем более за постмодернистской иронией.

Яков Шехтер: Ирония, смех, уничтожает дистанцию. У читателя возникает ощущение доступности, причастности. Это не темна вода во облацех, а нечто понятное, только руку протяни. А как протянет, как начнет читать, глядишь и проймет. Много лет назад я попытался объяснять открывшееся мне знание с помощью статей, публицистики. И быстро понял, что в русскоязыческом пространстве этот путь закрыт. Советская власть крепко научила людей сопротивляться обучению. Само слово назидание стало чуть ли не бранным. А ведь Набоков утверждал, что одной из составляющих настоящей литературы является поучение. Но Набоков, похоже, давно сброшен с корабля современности.

И я пришел к выводу, что взять постсоветского человека способно только искусство. Достучаться до него возможно лишь через художественный акт. Никакими самыми убедительными статьями невозможно согреть и повернуть человеческое сердце. А литературой можно. Литература – удивительное орудие воздействия на человека и ее, **на мой взгляд, нужно использовать**, чтобы помочь ему выбрать надежду, радость и веру, поднять голову вверх и увидеть свои крылья. Что я и пытаюсь делать в книге *Самоучитель каббалы*. Так что это не ученический, а скорее учительский жанр. Я считаю, что никого нельзя ничему научить, можно только научиться. А для этого как раз и подходит *Самоучитель*.

Роман Кацман: Можно ли считать, таким образом, что назидание или учительствование через игру, иронизацию и деконструкцию канонических дискурсивных формаций (как «преем-

ственность» в каббале) — это путь современной религиозной литературы? Создание того, чего «по определению быть не может»? Распространение и усвоение культурных концептов и идей, культурное научение — это задача скорее идеологическая и социальная, чем эстетическая. Тот, кто создает «мем» в надежде, что он будет воспринят и изменит сознание, заботится прежде всего о его способности влиять на умы, и только во вторую очередь о его художественной ценности. Последняя становится чисто инструментальной. В результате религиозная литература сегодня, как и всегда, пытается делать два дела: учить и восхищать. Но постмодернизм, различимый в вашем с Аней проекте, отрицает оба эти целеполагания. К тому же, как мне кажется, он близок к исчерпанию своей программы.

Яков Шехтер: Почему религиозной? Литературу можно рассматривать как инструмент развлечения, и тогда все равно, о чем, а главное, как говорил друг Незнайки, досточтимый художник Тюбик, чтоб было красиво. А можно рассматривать литературу и вообще искусство, как средство преобразования мира. Чувства добрые я лирой пробуждал, произнес вовсе не религиозный литератор и даже не еврей. Если отбросить самоиронию, без которой рефлексирующий интеллигентный человек не может обойтись, да я хочу сделать этот мир лучше. Я мечтаю помочь людям увидеть красоту, свою собственную, соседей, друзей, сограждан, людей другой расы, другой веры. А, увидев — восхититься и полюбить. Красота мир спасет? Да, спасет, если, увидев ее в другом, в результате восхищения мы станем теплее и добрее. Красота не как чисто эстетическое переживание, а как нравственный урок. Но этому тоже надо учиться. Что я и пытаюсь показать.

Роман Кацман: Ты не опасаясь, что такой пафос приведет, в случае *Самоучителя*, к девальвации религиозного и мистического содержания каббалы. Я понимаю, что сегодня «*коль мааянот ахуца*», мол, «все родники — наружу». Но наружу — это куда? Лайтман, например, может сколько угодно называть каббалу наукой, но от этого она наукой не становится. Нью Эйдж может поддерживать веру в какие угодно духовно-этические утопии, но от этого они не становятся менее утопическими. Если ты считаешь, что каббалистические или хасидские рассказы делают людей лучше, то как им это удастся? В чем их «*ноу хау*»? При помощи каких мыслеобразов, кодов, архетипов (или еще чего-то) они заставляют людей меняться? Конечно, то же можно спросить о любой литературе, но не все ставят эту задачу воспитания человека столь декларативно.

Яков Шехтер: Я вовсе не декларирую эту задачу. Это то, что стоит за текстом, внутренний двигатель. Мидраш говорит: «Хотел Всевышний создать мир категорией Суда, понял, что человек не устоит, и добавил в него милосердие — праведников». Почему праведники называются милосердием? Слушая истории о них, человек понимает, что окружающая его реальность не черный лес, где побеждает сильнейший хищник. Есть в этом мире окно света, внушающее надежду и успокаивающее душу. Мне кажется, что истории о необычном, которые я так люблю собирать и **рассказывать, хасидские притчи, и тексты, которые я тщусь сочинять, пытаются перекинуть условный мостик над пропастью между неодолимой стеной Высшей объективности и человеческого представления о ее воплощении.**

Где справедливость, и есть ли награда за праведность? Почему преуспевают злодеи и отчего страдают достойные? Эти вопросы не перестают терзать человека, питая живой источник дневных раздумий и полуночных сомнений. Жажда возмездия, на которой основаны все детективы, все трагедии и, возможно, немалая часть комедий, на самом деле есть не что иное, как проявление неумемного стремления человека к справедливости, желания верить, что в мире есть порядок, и зло неминуемо будет наказано, а добро восторжествует.

Мы хотим видеть нашу реальность не бессмысленным хаосом, а разумной гармонией, управляемой Всевышним по понятным человеку законам. И если в тексте просматривается такой порядок, он успокаивает душу человеческую, впадающую в отчаяние от несправедливости мира.

Роман Кацман: А совместимо ли утешение с обучением или учительством? В **особенности, за пределами религиозного мышления?** Я тоже люблю мифы, читаю и изучаю их, и этот интерес, возможно, изначально произрастает из удовольствия наблюдения чуда как победы справедливости или спасения, как проявления невидимого, но могущественного и мудрого закона. Но дальше, чем больше ты узнаешь мифы, тем больше понимаешь, что они, как писал Алексей Лосев, во всем, что становится живым, а чудо — в любой реализации трансцендентного, отнюдь не только справедливой и утешительной. Другими словами, и древняя мифология, и современная теория хаоса знают, что наша реальность — это и «бессмысленный хаос», и «разумная гармония» одновременно. Поэтому литература, если она учитывает, то не успокаивает, а тревожит: во многих мудрости много печали. Как раз ев-

рейская литература, с ее грустным, неутешительным юмором знает об этом больше других.

Яков Шехтер: Я гляжу, что для тебя слова учительствование и поучение тоже несут отрицательную коннотацию. Поэтому с твоей точки зрения поучающая литература не успокаивает, а тревожит. Сказали наши мудрецы: нет большей радости, чем разрешение сомнений. Литература, которой я пытаюсь заниматься, помогает человеку разрешить главные, сущностные сомнения, о которых я писал раньше.

Насчет грустного юмора, присущего еврейской литературе, у меня есть свое объяснение. Эту литературу делали люди, ушедшие из еврейства, оставившие теплый дом детства ради высокого воздуха интернационального признания. В том доме остались их дедушки и бабушки, родители, братья и сестры и, уходя, даже высмеивая скисающие сливки, они все-таки оглядывались назад с грустью. Мы возвращаемся, но оставляемый нами дом всемирной культуры не был ни теплым, ни дружелюбным. Я вас умоляю, оставьте эти разговоры про грустную еврейскую улыбку. Пусть наши враги так улыбаются.

Роман Кацман: Твое видение напоминает идею, вовсе не религиозную, Александра Мелихова о «человеке фантазирующем», спасающемся от ужаса и серости реальности при помощи грёз, воображения, сверхличных идей и ценностей, воплощение которых и есть прекрасное. При этом письмо Мелихова реалистично, болезненно, трагично (хотя он и не считает себя «скорбным» писателем). Ты видишь здесь какое-то родство с твоими мыслями?

Яков Шехтер: Мое видение — это взгляд на мир религиозного еврея. Не я его придумал, но я его воплощаю. Мелихов сам сочинил себе учение, а я исхожу из наследия библейских пороков и откровений, ниспосланных цадикам. Совсем другая весовая категория.

Роман Кацман: Но в чем особенность твоего видения? В *Самоучителе* Анна Файн пишет: «тайный смысл раскрывается лишь тогда, когда детские сказки рассказывает настоящий праведник. Все зависит не от текста сказки, а от рассказчика. Только истинный рассказчик, истинный свидетель тайны, знает правду». Речь идет и об авторах этой книги? Любовь к слову, слову праведника вне содержания, и есть то, что позволяет авторам видеть себя наследниками «откровений»? Может ли любой писатель быть «истинным рассказчиком» или это прерогатива только религиозной литературы? Сказки вообще жанр консервативный; в чем уникальность, помимо национальной, твоих

русско-еврейских религиозных «детских сказок» по сравнению, например, с теми же «сказками», которые упоминает Файн в своих комментариях — Пелевина, Роулинг, Толкина? Большая часть персонажей *Самоучителя* выглядят, как шалящие школьники: болтающие о чудесном неопиты, метящие в праведники простаки, неудачливые проповедники, разочарованные атеисты, полусумасшедшие провидцы, общающиеся с призраками чудаки, впавшие в детство недоучки — все они словно лишенные наследства блудные дети, «младшие сыновья», брошенные на завоевание духовности самим социальным укладом постсовременности, принцы и нищие в поиске отцовских сокровищ или сказочных принцесс. Рассказчик и, в еще большей степени, комментатор создают внушительную дистанцию между собой и своими незадачливыми персонажами, восхищаясь при этом образом жизни и мысли религиозной общины. Подразумевает ли такая наставническая литература сочувствие к персонажам, радость за них, умиление их ребячеством или, может быть, раздражение их нерадивостью? Говорит ли эта дистанция о том, что перед нами все-таки сказки, наподобие тех «сказок народов мира», о которых многократно упоминает в своих комментариях Анна Файн? Могут ли они в самом деле помочь вашему читателю, по ее же словам, «полюбить слово»?

Яков Шехтер: Как заметил Ницше, мы не можем мыслить вне рамок темницы языка. Текст — не более, чем инструмент для передачи информации. Система общепринятых значков, из которых он состоит, позволяет читателю расшифровать то, что хотел сообщить автор. Но всегда ли это так? Всегда ли темница обуздывает и ограничивает? Не может ли содержаться в тексте высший смысл, свободный от оков графических символов? Бааль-Шем-Тов говорил, что подобно тому, как в ковчеге (на иврите — *тева*) Ноаха был камень Цоар, освещавший все этажи, слово-слог (*тева*) в тексте также может быть освещено высшим смыслом. Но для того, чтобы это понять, необходимо рассказать историю.

Ребе Лейви-Ицхок, раввин города Бердичев, постоянно навещал ишувников, евреев, живущих в польских и украинских селах, собирая пожертвования для бедняков. Ишувники жили небогато, многие сами еле сводили концы с концами. Но когда в их доме появлялся цадик и благословлял жену и детей, кто мог устоять?

Как-то раз ребе Лейви-Ицхок посетил еврея, арендовавшего у пана мельницу. Он пропал на ней с утра до позднего

вечера, с трудом зарабатывая на арендную плату для пана и пропитание для своей семьи. Взволнованный арендатор не поспешил и, хоть сам жил весьма скромно, отмерил пожертвование щедрой рукой.

Когда цадик стал собираться в обратную дорогу, хлынул проливной дождь. Гроза грохотала все сильнее и сильнее, и стало понятно, что быстро она не закончится. Ребе попросил у арендатора разрешения остаться до утра.

Посреди ночи арендатор проснулся от странных звуков. Открыв глаза, он увидел, как цадик, окруженный светящимся ореолом, ходит взад и вперед по комнате, бормоча молитвы, а ему отвечают голоса из бездны. Ужас охватил арендатора, ведь перед ним предстала скрытая работа праведника, зрелище, закрытое для посторонних глаз. Зажмурившись и дрожа от страха, он еле дождался утра, молясь лишь о том, чтоб поскорее взошло солнце.

Прошел год. Лето выдалось засушливым, урожай задох на корню, и работы на мельнице было куда меньше обычного. Меньше работы, меньше дохода, но пана это не интересовало, он требовал от арендатора внести плату сполна. Тот тянул, увиливал, просил отсрочки, надеясь, что пан сменит гнев на милость, но тщетно. В один из дней к нему заявился панский посланник, гайдук. Говорил он просто и понятно, поигрывая увесистой плетью.

— Вот что, жидок, или до конца недели ты внесешь сполна весь долг, или вместе со всей семьей окажешься в яме. А мельницу пан передаст другому, более смышленому арендатору.

Оказаться в яме у пана означало мучительную смерть от голода и ночного мороза. В те годы управы на панов не было никакой, они безнаказанно творили со своими холопами и с евреями все, что заблагорассудится.

Арендатор помчался в Бердичев, искать спасения у цадика. Ребе Лейви-Ицхок внимательно выслушал его сбивчивую речь и успокоил:

— Дай-ка мне со стола вон тот чистый лист бумаги. Я напишу твоему пану письмо, и все устроится.

Цадик взял лист, и удалился в соседнюю комнату. Отсутствовал он с четверть часа, затем, выйдя, вручил арендатору тщательно сложенный несколько раз листок и велел отвезти его пану.

Обратную дорогу арендатор летел, как на крыльях. Он помнил, как выглядит работа праведника, и не сомневался, что тот уже задействовал все необходимые небесные силы для благополучного завершения дела.

Но на подъезде к усадьбе пана его охватили сомнения. Ведь перед тем, как уединиться, ребе Лейви-Ицхок взял с собой только чистый листок бумаги, а перо и чернильницу оставил на столе!

Кроме того, когда цадик выходил из комнаты, в который провел четверть часа, арендатор успел заметить, что в ней нет окна, и это вовсе не комната, а темный чуланчик, примыкающий к кабинету. Как ребе мог написать письмо в полной темноте без пера и чернил?

Взбудораженный от охватившей его догадки, арендатор достал письмо, развернул и увидел, что листок абсолютно пуст. Ни точки, ни черточки, только ровная, нетронутая пером поверхность бумаги.

Он осторожно сложил листик обратно по сгибам, засунул в карман и продолжил дорогу в поместье.

— Делать нечего, — сказал сам себе арендатор. — Это моя единственная надежда на спасение. Остается лишь уповать на милость Всевышнего и положиться на праведность цадика.

— Письмо от раввина Бердичева? — удивился пан. — Ну, слышал о нем, слышал. Интересно, что он может мне написать по твоему поводу.

Пан развернул листок. У арендатора сердце ухнуло вниз, он стоял, ни жив, ни мертв, не зная, что произойдет в следующие мгновения.

Пан медленно водил глазами по строчкам, и его чувства ясно читались на лице. Сначала он возмущенно сдвинул брови и нахмурил лоб, затем лицо разгладилось и когда пан, дочитав, опустил ладонь с зажатым в ней листком, на его губах играла улыбка.

— Убедил меня твой раввин, — воскликнул пан, словно получил известие о выигрыше в лотерею. — Так и быть, долг за этот год я тебе прощаю, недород, засуха, ладно, согласен. Но уж в следующем, если опять не будет какого-нибудь бедствия, берегись опоздать хоть на день!

Обуреваемый признательностью и распираемый счастьем, арендатор помчался в Бердичев, поблагодарить цадика. Ребе выслушал его и огорченно покачал головой:

— Ты развернул письмо?

— Развернул, — понурился арендатор.

— Если бы отдал его пану неоткрытым, то получил бы аренду мельницы до конца жизни и без всяких условий.

В этой истории письмо, написанное ребе Лейви-Ицхоком, не техническое средство для передачи информации, а некая лич-

ная связь между людьми, не нуждающаяся в **графических символах**. Послание, составленное так, что прочитать его может только адресат, все остальные видят лишь пустой лист. Цадик вложил в него часть своей души, зарядил высшим смыслом, несущим куда больше того, что могут выразить буквы.

Где же скрывается на бумаге этот высший смысл? В своей книге *Кдушат Леви* ребе Лейви-Ицхок утверждает, что белые пространства вокруг черных букв – тоже буквы, несущие содержание. Но прочитать его может далеко не каждый. Некоторые считают, будто текст входит в личный контакт с читателем, и то, что открывается одному, закрыто для другого. Разумеется, многое зависит не только от читателя, но и от автора. Сколько души, сил и рвения вложил он в сотворение текста, удалось ли ему зарядить слово высшим смыслом. Постигание тайны — это совместный процесс, в котором неразрывно связывается тот, кто эту тайну создал с тем, кто пытается ее разгадать.

Оценит ли читатель вложенное нами в *Самоучитель каббалы*? Время серьезных читателей и вдумчивого чтения давно прошло. Мы обращались к современникам: болтающим о чудесном неофитам, метящим в праведники простакам, неудачливым проповедникам, разочарованным атеистам, полусумасшедшим провидцам, общающимися с призраками чудакам, впавшим в детство недоучкам. Именно им предстоит отыскать спрятанную в слове высшую тайну, которую мы, как умели, попытались в него вложить. Трудно предположить, будто эти люди умеют читать белые поля вокруг черных букв. Да и авторы этой книги далеко не праведники, подобные ребе Лейви-Ицхоку. Поэтому и книга состоит не из пустых листов, а **представляет собой текст, организованный по законам литературы**. Но для того она и называется *Самоучитель*, чтобы человек, который возьмет себе за труд внимательно ее прочитать, сумел сам открыть для себя иное представление о мире.